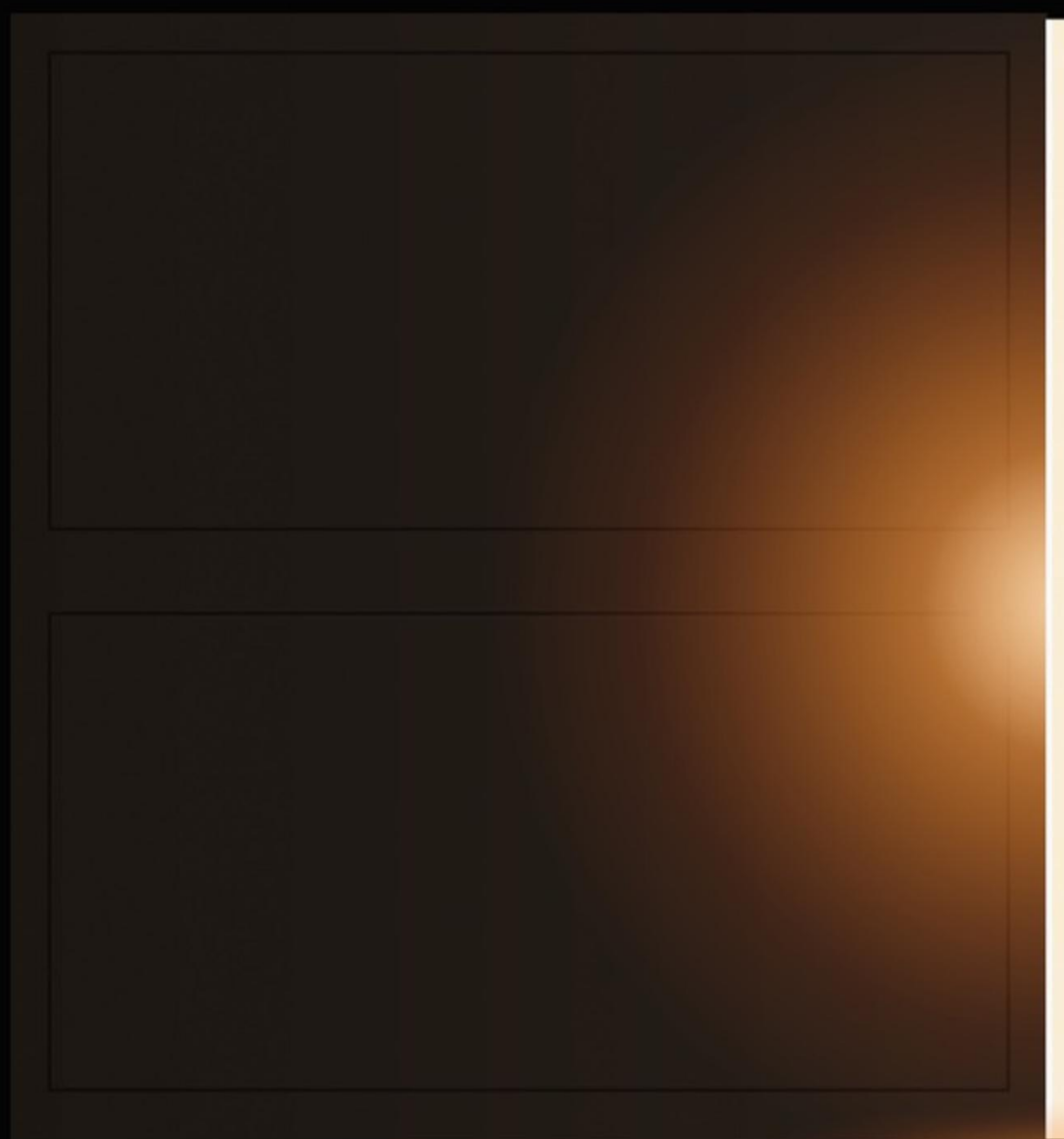


РОСТОВЩИК

Психологическая проза
о сделке с собой



LOW CORTISOL

Илья Новицкий

18+

Илья Новицкий

**Ростовщик. Психологическая
проза о сделке с собой**

«Автор»

2026

Новицкий И.

Ростовщик. Психологическая проза о сделке с собой /
И. Новицкий — «Автор», 2026

Демьяну четырнадцать, и он только что узнал, что боль можно выключить. Не заглушить — выключить. Полностью, за несколько минут, без побочных эффектов, без единого вопроса. Он не подозревает только одного: у этого выключателя есть счётчик. «Ростовщик» — психологическая проза о механизме, который есть у каждого: находить способ не чувствовать то, что невыносимо чувствовать. Иногда это бутылка. Иногда — работа до полуночи. Иногда — бесконечная лента в телефоне или человек, которого зовут не из любви, а от страха тишины. Это не книга про алкоголизм. Это книга про сделку, которую в той или иной форме заключил почти каждый, кто сейчас читает эту аннотацию, — и про единственный вопрос, ради которого стоит её открыть: чем я сам плачу за то, что помогает мне не чувствовать?

Содержание

Глава	5
О книге	6
ПРОЛОГ	7
Книга, которую никто не открывал	7
АКТ I. СПАСЕНИЕ	9
ГЛАВА 1. Дом без дверей	9
1.1 Отец, который уходил, не выходя из комнаты	9
1.2 Тишина как единственный язык в доме	11
1.3 Мальчик, который научился быть маленьким раньше, чем говорить	13
ГЛАВА 2. Боль, которую нечем было снять	15
2.1 Первая настоящая рана — не физическая	15
2.2 Все взрослые вокруг заняты своими книгами долгов	17
2.3 Ночь, когда стало нечем дышать	19
ГЛАВА 3. Гость, который не постучал	21
3.1 Он просто оказался рядом, когда больше некому было	21
3.2 Первое облегчение, настоящее, без обмана	23
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Илья Новицкий

Ростовщик. Психологическая проза о сделке с собой

Глава

РОСТОВЩИК

Психологическая проза о сделке с собой

Low Cortisol (Илья Новицкий)

Все персонажи и события, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любое совпадение с реальными людьми, именами или событиями случайно.

Книга содержит художественное описание алкогольной зависимости, панических атак и связанных с ними психологических состояний. 18+

© Low Cortisol (Илья Новицкий), текст

О книге

Три часа ночи — время, когда становится трудно врать себе. В это время особенно хорошо видно, от чего человек бежит, что пытается заглушить и сколько готов за это отдать.

Демьян однажды обнаруживает способ быстро выключать то, с чем не умеет справляться. Сначала это действительно помогает. Настолько хорошо, что никакого обмана не чувствуется: боль отступает, тревога становится тише, жизнь снова кажется управляемой.

Но у каждого облегчения есть цена. И чем дольше её не замечаешь, тем труднее понять, когда именно ты начал платить.

У этой сделки в книге есть лицо — Ростовщик. Он не приходит разрушать жизнь. Он приходит тогда, когда человеку действительно плохо, и предлагает ровно то, чего тот хочет прямо сейчас: не чувствовать.

Это история не только об алкоголе. И не только о зависимости. Она о привычке отдавать завтрашнего себя сегодняшнему облегчению — за тишину, за сон, за одобрение, за возможность не говорить, не выбирать, не оставаться наедине с собой.

А если однажды остановиться и посмотреть на счёт — что окажется в нём записано?

«Ростовщик» — психологическая проза о цене облегчения, о механизмах внутреннего бегства и о моменте, когда человек впервые решается увидеть свою сделку целиком.

ПРОЛОГ

Книга, которую никто не открывал

У каждого есть книга, которую он ни разу не открывал. Не дневник. Не Библия на полке у бабушки. Книга долгов. Её ведут с первого дня, когда кто-то снял с тебя боль и не спросил, чем ты будешь платить.

Я узнал про неё поздно. Годами казалось: просто живу, беру что нужно, отпускаю. Ночь, свет холодильника, тишина такой плотности, что слышно собственное дыхание, — случайность, думал я. Усталость. Плохой день. Так думает каждый, пока цифра в книге маленькая. Она растёт молча, без единого требования расписаться, без единого напоминания о том, что счёт вообще открыт.

Если бы книга долгов выглядела как настоящая книга — в переплёте, с корешком, стоящая на полке рядом с остальными, — её было бы легко заметить и легко бояться. Но она не выглядит никак. Она выглядит как обычный вторник. Как женщина, которая в три часа ночи в четвёртый раз за час обновляет ленту, ища не новости, а подтверждение, что её жизнь идёт не хуже чужой. Как мужчина, который остаётся в офисе до девяти не потому, что дела не ждут, а потому, что дома с восьми вечера начинает звенеть тишина, для которой у него нет слов. Как человек, который набирает номер того, с кем давно пора расстаться, — не из любви, а потому что вечер один на один с собой ощущается страшнее, чем ещё один вечер не с тем человеком. Никто из них не откроет книгу этим вечером. Большинство не откроет её никогда.

Демьяна я знаю изнутри, без права отвернуться. Это не история падения одного слабого человека. Это сделка, которую заключает почти каждый — в разном возрасте, с разным лицом гостя за столом. У одного — в детстве. У другого — на пике успеха, среди аплодисментов, там, где меньше всего ждёшь встретить кредитора. У третьего — впереди, через год, через десять, и сейчас он читает эти строки с полной уверенностью, что речь не о нём.

Позволь мне задержаться на одном таком человеке чуть дольше — не потому что он появится дальше в этой книге, а потому что через него легче увидеть, о чём я вообще говорю, прежде чем мы перейдём к Демьяну. Представь женщину лет сорока пяти в зале ожидания аэропорта, час ночи, рейс задержан. Она только что закрыла крупную сделку — ту самую, ради которой не спала три месяца, — и должна, по всем законам физики счастья, ощущать сейчас покой. Вместо этого она в двадцать седьмой раз за вечер открывает почту, проверяя, заметил ли кто-то из руководства её отчёт, написанный в самолёте. Заметил. Похвалил. Она перечитывает три слова похвалы четыре раза подряд, и на пятый раз тёплая волна, за которой она сюда пришла, уже почти не чувствуется — нужно, чтобы кто-то написал ещё раз, желательно кто-то более высокого ранга. Она не замечает, что уже двадцать минут не думает ни о муже, спящем дома, ни о рейсе, ни о собственной усталости, — только о следующем уведомлении, которое, если оно придёт, снова на пару минут снимет тревогу, поднявшуюся из ниоткуда сразу после того, как самая важная сделка года была закрыта. Ей это не кажется зависимостью. Ей это кажется амбициозностью, той самой, за которую её ценят и которой она гордится сама.

Я рассказываю тебе о ней не для того, чтобы ты запомнил её имя, — у неё в этой книге не будет имени, она не Демьян, она вообще может быть выдумана целиком, для примера. Я рассказываю о ней, чтобы ты держал в голове с самого начала: гость не выбирает жертв по бедности, слабости или отчаянию. Он выбирает по одному-единственному признаку — по боли, которую человек не умеет прожить иначе, — а этот признак встречается решительно у всех, вне зависимости от того, сколько у человека денег, наград и красивых слов в резюме.

Гость приходит не как враг. Запомни это на первой странице, иначе дальше всё прочтётся как мораль, а не как правда. Он приходит, когда правда невыносима, и предлагает единственное, что умеет: тишину вместо боли, сейчас, без вопросов.

Это работает. Первый раз — всегда по-настоящему.

Я не хочу, чтобы ты возненавидел гостя раньше времени. Если возненавидишь — потеряешь половину этой истории. Демьян был благодарен. По-настоящему, без всякой иронии, той благодарностью, какую испытывают к человеку, вытащившему тебя из воды. И правда в том, что гость его действительно вытащил. В ту ночь — вытащил.

Никто не держал его за руку. Гость никогда не торговался, не обещал, не угрожал — только предлагал, снова и снова, тем же ровным голосом, каким предлагают то, что действительно есть в наличии. Демьян выбирал сам, каждый раз. Это не история о том, как мальчика погубили. Это история о том, как человек снова и снова выбирает единственное, что умеет облегчить боль, — не зная заранее, что выбор этот стоит дороже, чем кажется в момент, когда он делается.

Ты встретишь гостя на этих страницах несколько раз, и не всегда узнаешь его сразу, — не потому что я собираюсь тебя запутать, а потому что Демьян сам узнавал его не сразу. Иногда гость приходит с бутылкой. Иногда — с отчётом, который можно доделать ещё вчера. Иногда — с чужой похвалой, за которой хочется вернуться ещё раз, и ещё. Форма — это то, на что мы смотрим. Механизм — то, что стоит за формой и остаётся неизменным, сколько бы костюмов он ни сменил.

Расплата не приходит сразу. Она копится с процентом, растянутым на годы, так медленно, что каждый день по отдельности выглядит нормальным. Демьян не заметил, как подписал расписку. Никто не замечает. Мелкий шрифт для того и придуман.

Это не книга про то, как бросить усилием воли. Демьян пробовал усилие. Не раз. Оно держит — ровно до ночи, когда держаться самому становится слишком тяжело, а потом держит следующая форма, едва отличимая от прежней, только более приличная на вид. Эта книга про другое: что происходит, когда человек открывает собственную книгу долгов и читает её от первой строки — включая те страницы, которые исписаны совсем не тем почерком, каким он ожидал. Без права закрыть на середине.

Лёгкого пути не обещаю. Обещаю то, что узнал сам Демьян, и узнавал не один раз, а снова и снова, каждый раз заново: гостя за столом видно, только когда на него смотрят прямо. С этой секунды ему уже негде прятаться — но это не значит, что он перестаёт приходить. Значит только, что его легче узнать в следующий раз, под следующим именем.

Три часа ночи. Свет холодильника. Демьяну шесть лет.

Гость ещё не пришёл. Но дом уже готовит для него место — и будет готовить ещё восемь лет, терпеливо, как готовят место, о котором заранее знают: оно понадобится. Не единожды. И не в одном обличье.

АКТ I. СПАСЕНИЕ

ГЛАВА 1. Дом без дверей

1.1 Отец, который уходил, не выходя из комнаты

Отец сидел в кресле каждый вечер, ровно в семь. Газета, потом телевизор, потом снова газета. Демьян знал этот порядок наизусть — так, как знают расписание поездов, которые никогда никуда не везут.

Он подходил. Садился на пол у кресла, спиной к батарее, и ждал.

— Пап.

Страница газеты переворачивалась.

— Пап, смотри, что я нарисовал.

Отец кивал, не отрывая глаз от строчек. Кивок был настоящий — голова двигалась вниз и вверх, ровно на нужный угол. Демьян не сразу понял, что именно было не так в этом кивке: угол был правильным, но за ним ничего не стояло. Отец был в комнате целиком, до последнего сантиметра тела. И его не было там совсем.

Мать называла это характером. Соседи — сдержанностью. У самого Демьяна слова не было вовсе — только ощущение, отчётливое, как сквозняк из-под двери: отец рядом, и одновременно отца нет. Живое, тёплое, сидящее в кресле каждый вечер отсутствие.

До тарелки были другие попытки, менее отчаянные, о которых Демьян вспоминал реже, потому что они оставили не боль, а что-то тише боли — равнодушие, повторённое достаточно раз, чтобы перестать удивлять. Он приносил из школы пятёрки и клал дневник на подлокотник кресла, туда, где отец точно его увидит. Дневник лежал там до утра, непросмотренный, и Демьян сам убирал его в портфель, не спрашивая, видел ли отец оценку. Он рисовал корабли — отец однажды, очень давно, упомянул, что в юности ходил на паруснике по Волге, и это была единственная личная деталь, которую Демьян о нём знал, — и оставлял рисунки на кухонном столе, где отец завтракал. Рисунки исчезали в мусорном ведре вместе с очистками от картошки, не потому что отец их не заметил, а потому что заметить и оставить у него означало бы что-то, на что он не был готов решиться.

Тарелка сработала там, где не сработали ни пятёрки, ни корабли, и это было первое взрослое наблюдение в жизни Демьяна, хотя он ещё не мог бы сформулировать его словами: хорошее не гарантирует внимания. Плохое — иногда да.

На отцовском столе стояла одна-единственная фотография — не семейная, чёрно-белая, мальчик лет десяти на крыльце дома с наличниками, прищуренный от солнца, с таким открытым, ничем не сдерживаемым выражением лица, какого Демьян никогда не видел у собственного отца наяву. Демьян спросил однажды, кто это. Отец не ответил сразу — будто взвешивал, стоит ли вообще отвечать.

— Это я, — сказал он и перевернул рамку лицом к стене.

Больше Демьян не спрашивал. Фотография так и осталась лежать изображением вниз, и никто в доме, кажется, не замечал этого, кроме него.

Дверь в кабинет была всегда открыта. Это Демьян запомнил особенно — не заперто, не спрято, ничего похожего на тайну. Просто пустое пространство за приоткрытой дверью, куда никто не входил, потому что входить было некуда. Дом стоял на трёх этажах и восьми комнатах, и ни в одной из них не было места, куда Демьян мог бы войти и оказаться замеченным.

Однажды — ему было пять, может, шесть — он разбил тарелку. Специально. Хотел проверить.

Отец поднял голову. Медленно, как будто из-под воды.

— Убери, — сказал он.

Демьян нагнулся собирать осколки. Отец смотрел на это несколько секунд дольше, чем требовалось, потом сказал, ни к кому особенно не обращаясь:

— Не люблю, когда усложняют.

И снова опустил голову к газете.

Демьян убрал осколки один за другим, разглядывая каждый на свет, будто в них было что-то, что стоило рассмотреть. В этом не было слёз. Слёзы пришли бы позже, годами позже, в другой комнате, с другим человеком в кресле напротив. Сейчас было только тихое, почти спокойное открытие: чтобы отец посмотрел, нужно было что-то сломать. А чтобы он остался смотреть — нужно было что-то большее, чем тарелка.

Если тебе никогда не приходилось разбивать тарелку ради внимания взрослого — считай, что тебе повезло, и не спеши закрывать книгу с чувством превосходства. Механизм, который здесь закладывается, редко остаётся в детской. Он просто меняет предметы: тарелку — на плохую оценку, которую хочется исправить любой ценой; на болезнь, которую вдруг обнаруживаешь в себе именно тогда, когда дома стало совсем тихо; на скандал, устроенный не из злости, а из голода по хоть какой-то реакции. Ребёнок, которому объяснили, что тихим быть выгоднее, чем настоящим, рано или поздно находит способ добыть внимание в обход этого правила — и почти никогда не выбирает для этого способ безопасный.

Демьян не знал ещё этого слова. Но задача уже была поставлена.

1.2 Тишина как единственный язык в доме

За ужином говорили немного. Вилки о тарелки, иногда просьба передать хлеб, редко — вопрос о школе, на который хватало одного слова в ответ. Демьян рано выучил: если сказать больше одного слова, повисает пауза, и в этой паузе слышно, как двигается что-то за глазами матери — будто она считает.

Мать вела дом с точностью бухгалтера. Не в смысле денег — деньги были, и о них никто не говорил, — а в смысле всего остального. Сколько улыбок за день. Сколько прикосновений. Сколько раз можно подойти к отцу, не вызвав того особого выдоха, с которым он опускал газету на колени.

— Не мешай папе, — говорила она, не поднимая глаз от штопки.

— Я не мешаю.

— Именно поэтому и не мешай.

Логика в этом была, только вывернутая — как будто отсутствие вреда само по себе становилось причиной вести себя осторожнее. Демьян усвоил её быстро, как усваивают правила игры, где никто не объясняет правил вслух, а просто наказывает за ошибку.

Это не значит, что мать не умела быть рядом. Однажды зимой, когда Демьяну было семь и температура поднялась к сорока, она не отходила от его кровати всю ночь — меняла холодные тряпки на лбу, тихо, немзыкально напевала что-то без слов, чего он никогда больше от неё не слышал ни до, ни после. Под утро, когда жар начал спадать, она уснула сидя, держа его руку в своей. Демьян долго лежал неподвижно, боясь разбудить её движением, — единственный раз в жизни, когда неподвижность досталась ему не как правило, а как подарок.

Однажды, в один из тех редких дней, когда родителей не было дома до вечера, Демьян обошёл весь дом сверху донизу — не потому что искал что-то конкретное, а потому что вдруг стало интересно, сколько в доме комнат, куда он никогда не заходил просто так. Оказалось — почти половина. Кабинет отца, где пахло старой бумагой и совсем не пахло отцом. Гостевая спальня на третьем этаже, застеленная так безупречно, будто гостей не ждали никогда. Кладовка с коробками, на которых чужим, незнакомым почерком — видимо, ещё довоенных, ещё дедовских времён — было написано «посуда» и «зимнее». Демьян постоял в каждой комнате по минуте, слушая тишину, которая в пустых помещениях звучала иначе, чем в его собственной, — не выжидающе, а просто пусто, без адресата. К вечеру, когда родители вернулись, он ничего не сказал об этом походе. Не было ощущения тайны. Было ощущение, что он просто подтвердил то, что и так знал: дом был больше, чем количество людей, которые в нём жили.

Дом умел разговаривать без слов, и этот язык Демьян знал лучше русского. Дверь спальни, закрытая на ладонь шире обычного, означала: сегодня можно войти. Закрытая до конца — означала: сегодня не входить ни при каких обстоятельствах, даже если из-под двери слышен плач. Особенно если слышен плач.

Он слышал его дважды за ту весну. Оба раза стоял у двери, положив руку на холодную ручку, и оба раза убирал руку, не повернув. Не потому что боялся. Потому что где-то уже знал: то, что происходит за дверью, — не для него. У взрослых была своя территория боли, огороженная так же чётко, как территория за приоткрытой дверью кабинета. Заходить было нельзя ни туда, ни туда.

Мать однажды, укладывая его спать, задержалась дольше обычного. Села на край кровати, положила руку ему на лоб — не проверяя температуру, просто так, — и сказала то, что Демьян запомнил дословно на всю жизнь:

— У нас не принято об этом.

— О чём — об этом?

— Ты сам поймёшь. Спи.

Она выключила свет и вышла, оставив дверь на ту самую ладонь — сегодня было можно. Демьян лежал в темноте и перебирал в голове всё, что могло скрываться за словом «это». Получался длинный список из вещей, о которых не говорили: почему отец сидит в кресле, а не с ними; почему мать иногда закрывается в ванной на сорок минут и выходит с красными глазами, будто там жарко; почему у бабушки, когда она приезжает, руки пахнут одним и тем же, сладким и резким одновременно, и почему взрослые делают вид, что не замечают этого запаха.

Бабушка приезжала раз в два месяца, всегда в субботу, и суббота с бабушкой была единственным днём в доме, где правила Демьяна не действовали вовсе. Она появлялась в дверях с сумками, из которых торчали то банка варенья, то новая рубашка «на вырост», обнимала его так крепко, что рёбра похрустывали, и кричала на весь подъезд «а вот и моё солнышко!» — так громко, что соседка с первого этажа однажды высунулась узнать, не случилось ли чего. Ничего не случилось. Просто в доме, где обычно говорили вполголоса, бабушка говорила в полную силу, и Демьян, слушая её голос, разносившийся по всем трём этажам разом, впервые за две недели чувствовал, что можно занимать пространство, а не экономить его.

К вечеру субботы бабушка доставала бутылку — «по чуть-чуть, для аппетита», — и с каждой рюмкой становилась не пьянее, а как будто ярче: громче смеялась, крепче обнимала, рассказывала истории из своей молодости с такими подробностями и таким количеством голосов на все роли, что Демьян мог слушать часами. Один раз она даже станцевала с ним посреди кухни, держа его за обе руки, кружа так, что у него закружилась голова по-настоящему, от счастья, а не от тревоги, — и это было единственное воспоминание за всё детство, где танец и смех не требовали разрешения ни у кого в доме.

Воскресное утро всегда наступало другим. Бабушка вставала поздно, с тяжёлым, помятым лицом, пила чай молча, мелкими глотками, и на вопросы отвечала односложно, будто вчерашняя женщина, кружившая его по кухне, уехала вместе с ночью. К обеду она уже собирала сумку домой, обнимала уже не так крепко, чмокала в макушку и уходила, оставляя после себя запах — тот самый, сладко-резкий, — который выветривался из квартиры только к среде.

Демьян не связывал одно с другим — весёлую субботу и серое воскресенье — годами. Для него это были просто два разных дня недели, оба по-своему бабушкины, и он любил субботу настолько сильно, что готов был терпеть воскресенье как разумную, ничем не примечательную плату за неё.

Список рос быстрее, чем Демьян успевал его понимать. К восьми годам он знал этот дом лучше, чем себя самого: где скрипит третья ступенька, в какой час можно подойти к отцу без последствий, каким тоном мать говорит «хорошо», когда на самом деле не хорошо. Он стал специалистом по чужой тишине задолго до того, как научился разбираться в собственной.

Единственное, чего он не умел, — это заполнить свою собственную тишину хоть чем-то. Она стояла внутри него ровно, как вода в закрытом сосуде, и ждала.

1.3 Мальчик, который научился быть маленьким раньше, чем говорить

В школе Демьяна хвалили за тихость. Учительница литературы, Ирина Павловна, писала в дневнике аккуратным почерком: «Спокойный, дисциплинированный, не создаёт трудностей». Мать читала эту фразу и кивала с явным удовлетворением, будто в ней содержалась похвала за что-то большее, чем поведение на уроках.

Никто не спрашивал, чего стоит быть спокойным в семь лет.

Это было ремесло, и Демьян осваивал его методично, как осваивают игру на инструменте, — через повторение, через ошибки, через слух, который с каждым разом становился всё тоньше. Он научился заходить в комнату так, чтобы дверь не скрипнула. Научился смеяться на два тона тише, чем хотелось, потому что громкий смех однажды вызвал у отца взгляд поверх газеты — не злой, просто оценивающий, как будто отец на секунду вспомнил, что в доме есть кто-то ещё, и не обрадовался напоминанию. Демьян запомнил этот взгляд навсегда и больше никогда не смеялся в полную силу дома.

Занимать мало места оказалось искусством с массой технических деталей. За столом — локти прижаты, тарелка ровно по центру, ничего не просить дважды. В разговоре — говорить, только если спросят, и заканчивать раньше, чем начнёт казаться, что говоришь слишком долго. В своей комнате — не шуметь после восьми, даже если родители ещё не спали, потому что звук из детской комнаты в этом доме воспринимался как претензия, а не как жизнь.

К девяти годам он умел исчезать, находясь на виду. Сидел на диване в гостиной, читал книгу, и через полчаса кто-то из взрослых удивлённо спрашивал: а Демьян дома? Он был дома. Просто занимал в комнате ровно столько пространства, сколько требовалось, чтобы его не замечали, — и ни сантиметром больше.

Это умение спасало его на людях. Оно же и стоило ему всего остального.

Внутри, там, где снаружи не видно, происходило другое. Демьян придумал себе страну. Не на бумаге — в бумаге можно было проследить, в тетради могли заглянуть, — а строго в голове, куда не было доступа ни матери с её бухгалтерией взглядов, ни отцу с его вечной газетой. Страна называлась Сунн, и в ней Демьян был не мальчиком, который умеет исчезать, а тем, кого слышат с первого слова. Королём без трона, но с голосом, который разносится на всё королевство и не требует повторения.

У Сунна была своя география, выстроенная за годы с той же тщательностью, с какой Демьян изучал скрип половиц в реальном доме: столица у слияния двух рек, которые текли в противоположных направлениях просто потому, что так было интереснее; северные земли, покрытые лесом, где жил народ, говоривший исключительно правду, даже неприятную, и за это уважаемый превыше всех прочих сословий; трое советников — Хорм, старый и молчаливый, слушавший дольше, чем говорил; Ясень, всегда готовый спорить с королём и от этого более всех ему доверявший; и Тиша, единственная женщина в совете, чей голос Демьян так и не смог до конца расслышать даже во внутреннем королевстве, хотя пытался годами. Он вёл записи мелким почерком в двух блокнотах, спрятанных под матрасом, — карты, родословные, хронику войн, которых на самом деле никогда не было, потому что в Сунне, в отличие от дома, войны были не нужны: слушали всех, и этого хватало для мира.

Он уходил туда во время уроков арифметики, глядя в окно с идеально пустым лицом отличника, погружённого в задачу. Уходил туда за ужином, кивая матери на автомате, пока внутри разворачивались целые сражения, дворцовые интриги, разговоры с придуманными советниками, которые всегда слушали внимательно и никогда не переворачивали страницу газеты, пока он говорил.

Учительница называла это сосредоточенностью. Мать — задумчивостью, характерной для умных детей. Никто не заметил, что мальчик всё чаще предпочитает Сунн настоящей комнате, в которой живёт, — потому что в Сунне у него было то, чего не было здесь: значение. Простой факт, что кто-то ждёт твоих слов, а не терпит их.

Была одна деталь, которую Демьян не рассказал бы никому и тогда, и много лет спустя, потому что стыдился её сильнее, чем всего остального в детстве. Иногда, возвращаясь из Сунна в реальную комнату, в реальный ужин, в реальную тишину за столом, он на долю секунды не мог понять, где находится по-настоящему. Оба места казались одинаково реальными — и одинаково не его.

Был один вечер во втором классе, когда он почти рассказал про Сунн вслух — мальчику по фамилии Веретенников, с которым несколько недель сидел рядом на продлёнке, пока не увезли на дачу. Демьян уже открыл рот, уже начал: «Знаешь, я придумал одну страну...» — и вдруг увидел, как Веретенников на автомате кивает, глядя не на него, а в окно, тем самым кивком, который Демьян слишком хорошо знал по отцу. Он замолчал на середине фразы и больше не возвращался к этой теме — ни с Веретенниковым, ни с кем-либо ещё, вплоть до одного вечера чуть позже, о котором эта книга ещё расскажет отдельно.

Однажды в третьем классе на уроке рисования учительница попросила нарисовать свою семью. Дети рисовали как умели — кривых человечков с непропорциональными руками, солнце в углу листа, собаку, если была. Демьян рисовал долго, сосредоточенно, и когда сдал лист, Ирина Павловна замерла над ним дольше, чем над остальными.

На бумаге был дом. Три этажа, восемь окон. За каждым окном — пусто. Ни одной фигуры внутри.

— А где твоя семья, Дёма?

Он посмотрел на рисунок так, будто увидел его впервые вместе с ней.

— Наверное, я забыл нарисовать людей, — сказал он ровно, тем самым голосом, которым отвечал на всё, что требовало объяснения.

Учительница улыбнулась с облегчением — детская невнимательность, обычное дело, — и отложила лист в стопку с остальными работами. Она не спросила дважды. Демьян тоже не стал уточнять, что забыл не случайно.

Дома он не показал рисунок никому. Свернул в трубочку и спрятал под матрас, туда же, где уже лежали два блокнота с картами Сунна и список имён советников, которых никто, кроме него, никогда не услышит.

Ему было девять. Дыра внутри к тому моменту была не намёком, не тенью — она имела форму, размер, температуру. Она ждала не сочувствия и не внимания взрослых, которые давно перестали казаться источником того и другого. Она ждала чего-то, что заполнит её напрямую, без посредников, без необходимости объяснять словами то, для чего у Демьяна пока не было слов.

Оставалось недолго.

ГЛАВА 2. Боль, которую нечем было снять

2.1 Первая настоящая рана — не физическая

Его звали Костик, и он был первым человеком за пределами дома, которому Демьян доверился настолько, чтобы показать блокнот.

Это случилось не сразу. Полгода они сидели за одной партой, полгода Демьян изучал его так же внимательно, как изучал отца, — что можно говорить, а что нет, в какой момент лицо человека выдаёт настоящий интерес, а не вежливость. Костик смеялся его шуткам. Не из вежливости — по-настоящему, запрокидывая голову. Демьян решил, что этого достаточно.

Были и другие признаки, которые Демьян собирал бережно, как собирают доказательства для самого важного дела в жизни. Однажды Костик прогулял с ним последний урок физкультуры, просто чтобы вместе дойти до киоска за мороженым, — рискнул замечанием в дневник ради двадцати минут разговора ни о чём. В другой раз, когда Демьяна дразнили за то, что он неправильно ответил у доски, Костик единственный из всего класса не засмеялся, а вместо этого громко сказал что-то отвлекающее, переключив внимание на себя. Демьян запомнил это лучше, чем помнил собственные пятёрки, — потому что это было доказательством, что заступничество вообще возможно, что оно существует не только в книгах.

На перемене, за спортзалом, где обычно никого не было, он достал блокнот из рюкзака.

— Только это между нами.

— Ясное дело.

Демьян открыл страницу с картой Сунна. Показал границы королевства, реку, которая текла в обе стороны одновременно, потому что так было интереснее. Рассказал про короля, у которого голос долетает до последней хижины на границе без единого крика. Костик слушал, кивал, задавал вопросы по существу — где столица, кто враги, — и Демьян впервые в жизни почувствовал то, что искал годами в комнате с газетой: его слышали с первого раза.

В пятницу Костик попросил блокнот на выходные — долистать в тишине, без спешки, обещал беречь как свой. Демьян отдал не задумываясь. Отказать означало бы признать, что доверие имеет границы, а границ ему хотелось меньше всего на свете.

Он не заметил, когда именно доверие стало ошибкой. Может, в тот момент, когда назвал вслух имя советника, которого до этого никому не называл — даже себе, даже в темноте. Слова, произнесённые в голове, звучат иначе, чем произнесённые перед свидетелем. Демьян не знал этого правила заранее. Узнал через два дня.

В понедельник, на большой перемене, Костик стоял в центре класса с чужим блокнотом в руках. Голос у него был поставлен для этого — громкий, с той особой интонацией, с которой читают что-то заведомо смешное вслух перед аудиторией.

— «Король Сунна повелел, чтобы никто не смел говорить громче него, ибо голос его — закон», — произнёс он, и половина класса уже смеялась, ещё не поняв, над чем именно.

Демьян стоял у окна. Он видел свой почерк на странице — тот самый, аккуратный, которым писал только ночью, — и слышал его чужим ртом, вывернутым наизнанку издёвкой.

Жар поднялся снизу вверх, от груди к лицу, за две секунды — та самая волна, которую взрослые называют стыдом, а тело переживает как нечто гораздо более грубое: кровь бьёт в уши, ладони мгновенно становятся влажными, в горле встаёт плотный ком, не дающий сглотнуть. Демьян стоял неподвижно не потому, что был спокоен, а потому что тело, отработавшее годы тренировки не создавать трудностей, среагировало единственным доступным ему способом — параличом.

— Дёма у нас король! — крикнул кто-то с задних парт.

— Ваше величество, а трон покрепче найдётся?

Смех набирал силу так, как набирает силу вода, если не остановить её в первую секунду. Демьян не остановил. Он стоял и смотрел, как самое защищённое место внутри него — единственная территория, где его действительно слышали, — становится общим достоянием, поводом для шутки, которую будут вспоминать ещё месяц.

Демьян не знал — да и не мог тогда знать, — что накануне вечером над самим Костиком две недели смеялись за новые очки в толстой оправе, и что чужой блокнот с королевствами оказался единственным, что подвернулось под руку, чтобы в понедельник смех в классе прозвучал наконец не в его сторону. Это ничего не отменяло. Но, может быть, объясняло — если бы Демьян в тот момент было до объяснений.

Он не заплакал. Это отметил про себя с каким-то отстранённым удивлением: должен был заплакать, а не заплакал. Вместо этого внутри произошло что-то более тихое и более окончательное — как будто дверь, которую он годами приоткрывал на сантиметр, захлопнулась сама, без его участия, и он услышал щелчок замка.

Костик подошёл к нему после уроков, без блокнота, с лицом, на котором читалось нечто похожее на извинение.

— Слушай, я не думал, что ты так...

— Всё нормально, — сказал Демьян.

Голос прозвучал ровно. Настолько ровно, что Костик, кажется, поверил.

Прозвище приклеилось быстро и держалось до конца учебного года — «ваше величество», брошенное вскользь у гардероба, на физкультуре, в столовой, каждый раз без злого умысла, просто по привычке, которую класс усвоил быстрее, чем усваивал таблицу умножения. Демьян научился не реагировать вовсе — ни улыбкой, ни раздражением, ни единым движением лица, которое можно было бы истолковать как задетость. Это сработало: к весне прозвище употребляли уже без всякого интереса к реакции, по инерции, а к лету забыли вовсе. Демьян считал это своей маленькой победой, хотя победа обошлась ему в единственное, что у него было по-настоящему собственного, показанное однажды и больше никогда — ни в тот год, ни в следующие несколько лет — никому не показанное снова.

Дома в тот вечер отец сидел в кресле, ровно в семь. Мать спросила, как дела в школе. Демьян ответил: нормально. Одно слово, как всегда. Никто не заметил разницы между этим «нормально» и всеми предыдущими.

Он поднялся к себе, достал из-под матраса второй блокнот — карты, имена, границы королевства, — и долго держал его в руках, не открывая. Потом убрал обратно. Не порвал. Просто спрятал глубже, туда, где его никто больше никогда не найдёт, включая, если получится, самого Демьяна.

Боль, которая поселилась в нём в тот вечер, не имела формы синяка или ссадины. Она не проходила через неделю, как проходят обычные детские обиды. Она нашла себе постоянное место — где-то под грудиной, ровно там, где раньше пряталась дыра, — и осталась там жить, тихо, требовательно, ожидая единственного, чего Демьян ещё не пробовал: способа заставить её замолчать.

2.2 Все взрослые вокруг заняты своими книгами долгов

После истории с блокнотом Демьян начал смотреть на взрослых иначе. Не специально — просто рана открыла в нём какой-то новый слух, и этим слухом он вдруг начал различать то, что раньше проходило фоном.

Отец каждый вечер садился в кресло ровно в семь. Демьян знал этот ритуал наизусть с шести лет и никогда не спрашивал себя, зачем он вообще нужен. Теперь спросил. Газета не менялась — отец читал одну и ту же с утра, перечитывал заново вечером, водил взглядом по строчкам, которые уже видел. Телевизор включался не ради программы, а ради звука, ровного гула, который заполнял комнату так, чтобы в ней не осталось места ни для одного лишнего вопроса. Демьян понял это однажды в среду, наблюдая, как отец щёлкает пультом мимо канала с новостями — не потому что не интересно, а потому что там кто-то говорил слишком быстро, слишком живо, слишком похоже на разговор, который могли бы поддержать.

Отец не пил, не курил, ни разу в жизни не поднял руку ни на кого в доме. Соседи считали его образцовым. Демьян, глядя на него с пола у батареи в свои десять лет, впервые поймал мысль, которая потом преследовала его всю жизнь в разных формах: у отца тоже что-то есть. Оно не пахло и не имело формы бутылки. Оно называлось «кресло, ровно в семь», и отец держался за него так же цепко, как держатся за перила на скользкой лестнице.

Бабушка приезжала раз в два месяца, всегда в субботу, всегда с гостинцами, которые Демьян любил, — вафли в железной банке, конфеты с вишней внутри. От неё пахло сладким и чем-то ещё, резким, что Демьян не мог назвать до одиннадцати лет, а потом назвал сразу и навсегда, услышав это слово на школьном дворе от старшего мальчика, который рассказывал, как его отец «приходит с этим запахом каждую пятницу».

Бабушка становилась к вечеру субботы громче, добрее, руки у неё начинали двигаться шире, объятия — крепче обычного. Демьяну это нравилось — единственный взрослый в его жизни, который обнимал крепко, без опасения переборщить. Только на следующее утро бабушка вставала поздно, с тяжёлым лицом, пила крепкий чай молча, и в этой субботней щедрости, которую Демьян так ждал две недели подряд, была цена, которую платила не она сама, а воскресное утро, съёженное и серое, будто из него выкачали воздух.

Мать не пила и не курила тоже. У матери был другой ритуал, ещё более тихий, чем отцовский, — она убирала. Не как обычную домашнюю обязанность, а как что-то срочное, что нельзя отложить ни на минуту. Полка с книгами выравнивалась по цвету корешков раз в неделю, хотя никто её не трогал. Кухонные полотенца складывались втрое, потом впятеро, потом мать разворачивала их и складывала снова, если угол казался неровным.

Однажды Демьян застал её за этим занятием поздно вечером — она перекладывала посуду в шкаф, хотя посуда стояла аккуратно ещё с утра.

— Мам, зачем ты это делаешь?

Она не обернулась сразу. Руки продолжали двигаться, тарелка за тарелкой, с точностью, которая не оставляла места для разговора.

— Чтобы был порядок, — сказала она наконец.

— Но порядок уже есть.

Мать на секунду замерла с тарелкой в руках, и Демьян впервые увидел то, что она обычно прятала за спокойным лицом бухгалтера чужих чувств, — что-то похожее на панику, короткую, тщательно подавленную.

— Иди спать, Дёма. Поздно уже.

Он ушёл. Через полчаса, выйдя за водой, увидел свет на кухне и мать, всё ещё перекладывающую посуду — уже не первый раз за вечер, судя по звуку, который доносился из-за двери с самого его ухода.

Наблюдение не осталось внутри дома. В школе была девочка, Соня, чья мама забирала её каждый день ровно без пятнадцати три, минута в минуту, и если Соня задерживалась хоть немного — на разговор с подругой, на несколько лишних слов учительнице, — мать встречала её на крыльце с лицом, из-за которого Соня потом весь вечер извинялась неизвестно за что. Была учительница физики, Марина Олеговна, которая оставалась в кабинете после уроков дольше всех других учителей в школе, проверяя тетради, которые вполне можно было проверить дома, — и однажды, когда Демьян заглянул за забытым дневником, увидел на её столе открытую пачку сигарет и усталость на лице настолько неприкрытую, что тут же вышел, не сказав ни слова, как будто застал что-то, чего видеть не полагалось. Демьян тогда впервые подумал мысль, которая позже станет для него почти привычной: может быть, дело не только в его доме. Может быть, у каждого взрослого вокруг — точно так же, тихо, под приличным предлогом — есть своя книга долгов, и просто никто не показывает обложку.

Демьян начал собирать эти наблюдения так же методично, как когда-то собирал карты Сунна. Отец — кресло и газета. Бабушка — субботний запах. Мать — бесконечный порядок в шкафах, который никогда не оставался в покое дольше часа. У каждого взрослого в его жизни было что-то, к чему они возвращались снова и снова, что-то, что снимало напряжение так же надёжно, как снимало бы его настоящее облегчение, — и одновременно чуть-чуть, незаметно, забирало что-то взамен.

Он ещё не знал слова для этого. Не знал, что у всех троих — у отца с креслом, у бабушки с субботним теплом, у матери с идеальными полками — есть общий знакомый, который приходит к каждому из них в своё время, под своим именем, и уходит, оставляя запись в книге, которую никто из них не открывал.

Демьян знал только одно, с ясностью, которая пугала его самого: если у всех взрослых есть что-то такое, то, вероятно, однажды понадобится и ему.

Он не думал об этом как о желании. Он думал об этом как о факте будущего — таком же неизбежном, как то, что за десятым классом придёт одиннадцатый.

Оставалось только дожидаться повода.

2.3 Ночь, когда стало нечем дышать

Ему было четырнадцать, когда это случилось впервые.

Обычный вечер, ничего не предвещало. Уроки сделаны, ужин съеден в привычной тишине, отец в кресле, мать на кухне переставляет банки. Демьян лежал в темноте и вдруг понял, что не может вдохнуть до конца — воздух заходил в грудь только наполовину, будто кто-то невидимый держал руку у него на рёбрах.

Он сел. Легче не стало.

Сердце колотилось так, что казалось, его слышно через стену. Комната сузилась до размера кровати, потом до размера собственной груди. Демьян открыл рот, чтобы позвать, и не смог — не потому что не хватало воздуха на звук, а потому что четырнадцать лет тренировки говорили одно и то же: не мешай, не создавай трудностей, разберись сам.

Руки онемели первыми — сначала кончики пальцев, потом ладони целиком, будто отлежал их во сне, только сон был ни при чём. Перед глазами замелькали серые точки, комната то приближалась, то отдалялась, хотя Демьян точно знал, что не двигается с места. Где-то в затылке ровным, монотонным голосом звучала одна и та же мысль по кругу: это конец, вот как это бывает, вот сейчас — и мысль эта пугала едва ли не сильнее самого удушья, потому что была абсолютно убедительной изнутри и абсолютно беспочвенной, как выяснится позже, снаружи.

Он давно умел управлять всем, что имело значение, — громкостью голоса, выражением лица, тем, сколько места занимать в комнате, сколько слов говорить за ужином. Тело никогда не входило в этот список: до сих пор в этом не было нужды. Теперь оно вышло из-под контроля первым, без предупреждения, и оказалось, что это едва ли не единственное на свете, чем он никогда не учился управлять.

Он разобрался сам. Полчаса просидел на полу у окна, вцепившись руками в подоконник, считая вдохи, которые не хотели считаться, — пока грудь наконец не отпустила, медленно, нехотя, как отпускает капкан, которому надоело держать.

Никто в доме не узнал об этом ни в ту ночь, ни позже. Демьян бы устыдился, узнай кто-нибудь, — не самого приступа, а того, что тело предало его именно тогда, когда полагалось справляться самому, без единого свидетеля.

Демьян лежал потом без сна до утра, пустой и ясный одновременно, и думал не о том, что случилось, а о другом — с холодной, почти взрослой точностью: если тело умеет вот так предавать без предупреждения, значит, где-то должен существовать способ держать его под контролем заранее. Не ждать следующего раза с завязанными руками.

Дня через три, за ужином, Демьян всё же решился — не рассказать целиком, конечно, а прощупать почву, как прощупывают лёд перед тем, как ступить на него всем весом.

— Мам, а бывает, что вдруг трудно дышать? Без причины?

Мать подняла глаза от тарелки — не встревоженно, а с лёгким, почти автоматическим вниманием, каким реагируют на вопрос, ожидая, что он окажется несерьёзным.

— От духоты бывает. Ты форточку открывал у себя на ночь?

— Не от духоты. Просто так. Ночью.

— Может, съел что-то тяжёлое перед сном, — сказала она, уже возвращаясь взглядом к тарелке. — Не ешь после восьми, я тебе сто раз говорила.

— Дело не в еде, — сказал Демьян, и голос его прозвучал тише, чем он рассчитывал, будто сама попытка договорить фразу до конца забирала часть воздуха.

Мать не услышала этого «не в еде» — или услышала, но решила, что продолжать разговор в эту сторону не имеет смысла. Она уже спрашивала отца, будет ли он доедать, убирала со стола, и момент, узкий, как щель под дверью, закрылся сам собой, без чьего-либо злого

умысла, просто потому что никто в этой семье не умел держать такую дверь открытой дольше нескольких секунд.

Демьян доел молча. Он не сделал вторую попытку ни в тот вечер, ни позже — не потому что обиделся, а потому что понял со всей ясностью, свойственной детям в подобные моменты: этот путь не работает. Оставался только тот, который он найдёт сам, без спросу, без свидетелей, тем самым способом, каким находил всё по-настоящему важное в этом доме.

Способ должен был существовать. Демьян ещё не знал, что тот, кто его предложит, уже выбрал время и место.

ГЛАВА 3. Гость, который не постучал

3.1 Он просто оказался рядом, когда больше некому было

Второй раз это случилось через три недели, в четверг, без всякой видимой причины — контрольная прошла нормально, дома было тихо, обычный вечер. Грудь просто перестала слушаться где-то около полуночи, ровно так же, как в тот первый раз, только теперь к нехватке воздуха добавился холодный, липкий страх узнавания: это снова оно, и оно теперь знает дорогу.

Тело не спрашивает разрешения. В этом вся его нечестность. Оно не стучится, не предупреждает заранее, не даёт человеку время собраться, — оно просто берёт власть, одним рывком, посреди ночи, посреди обычного четверга, и делает это так уверенно, будто имеет на это полное право. Демьян в свои четырнадцать лет ещё не знал этого слова — предательство, — но знал уже саму вещь, знал её на вкус, на ошупь, знал ту особую разновидность ужаса, когда собственные лёгкие вдруг отказываются быть твоими.

Демьян сидел на полу у кровати, держась за края матраса, и считал секунды между вдохами, которые не давались. Дом спал. Идти было некуда — комната матери за стеной, комната отца дальше по коридору, и обе двери, он знал это с восьмилетнего возраста, вели в места, куда не заходят с проблемами, которые можно перетерпеть в одиночку.

Один раз он открыл рот, чтобы позвать мать — не «мама», а её имя, как зовут взрослого в чужой квартире, когда случилось что-то по-настоящему серьёзное. Звук не вышел. Не потому что не было сил на голос. Потому что тело откуда-то знало заранее: показать, что зовёшь на помощь, само по себе будет унижением, которое придётся переживать дольше, чем сам приступ.

Дело было не в слабости характера, а в самой обыкновенной физиологии страха, доведённого до предела в теле, которое годами училось молчать. Четырнадцать лет тренировки — не мешать, не создавать трудностей, разбираться самому — не отключились по щелчку только потому, что сейчас, возможно, вопрос шёл о жизни. Они, наоборот, включились на полную мощность именно в эту минуту. В этом и была ловушка, в которую Демьян попал ещё до того, как узнал вкус первого глотка: он был обучен терпеть в одиночку так качественно, что когда терпеть стало почти невозможно, единственным доступным ему выходом оказался не крик о помощи, а поиск помощи молча, своими силами, в темноте, на ошупь.

Он спустился вниз. Не думая зачем — ноги сами понесли его на кухню, туда, где горел ночник над плитой, туда, где было хоть немного света среди всей этой темноты, готовой сомкнуться над ним, как вода. Лестница под ногами казалась длиннее обычного — четырнадцать ступеней, он считал их машинально, привычка ещё с детства, когда пересчитывал всё, что можно пересчитать, лишь бы не считать удары сердца. Дерево холодило босые ступни. Где-то на уровне восьмой ступени лёгкие снова сжались, коротко, предупреждая, будто напоминая: я всё ещё здесь, я всё ещё решаю.

На кухне, в шкафу со стеклянной дверцей, куда родители никогда не заглядывали при нём, стояли бутылки. Демьян знал про них давно — видел, как отец однажды, на чей-то день рождения, доставал одну и разливал по маленьким стопкам для гостей, а сам едва пригубил. Бутылки стояли там месяцами нетронутые, будто ждали своего часа так же терпеливо, как ждал весь этот дом.

Он не решал ничего заранее. Решение пришло не в виде мысли, а в виде движения руки — открыть дверцу, достать стопку, налить на два пальца то, что показалось наименее страшным по запаху. Стекло звякнуло о стекло — один короткий, испугавший его самого звук, —

и он замер на секунду, вслушиваясь в дом. Тишина. Только холодильник гудел ровно, безразлично, как гудел всегда, не зная и не желая знать, что происходит в трёх шагах от него.

Первый глоток обжёг горло так, что Демьян едва не закашлялся вслух. Он замер, прислушиваясь к дому, — тихо. Второй глоток пошёл легче.

И тогда что-то произошло. Не сразу, не мгновенно, а через минуту-полторы, тёплой волной, которая начала расходиться от груди вниз, к рукам, к ногам, снимая напряжение так методично, будто кто-то невидимый прошёлся по всему его телу и развязал разом все узлы, которые копились годами. Это не было похоже ни на что из того, что он знал раньше. Не на облегчение после контрольной. Не на радость от похвалы учительницы. Это было глубже, старше, ближе к самому основанию тела, — как будто где-то на клеточном уровне сработал выключатель, о существовании которого Демьян прежде даже не подозревал.

Дыхание выровнялось само, без счёта, без усилия.

Что-то в нём — то самое, что всю жизнь управляло голосом, лицом, тем, сколько места занимать в комнате, — снова взяло управление на себя. Только теперь оно дотянулось туда, где полчаса назад всё было чужим и неподвластным, и вернуло себе власть там тоже. Тело слушалось. Впервые с той ночи в феврале — слушалось.

Демьян сидел на холодном полу кухни, в темноте, разбавленной одним ночником, и впервые за много лет чувствовал себя не маленьким, не тихим, не человеком, который умеет исчезать на виду, — а просто нормальным. Обычным мальчиком, у которого просто болело, а теперь не болит. Плечи, которые он не замечал напряжёнными годами, вдруг стали ощутимы именно потому, что перестали быть каменными. Челюсть, сжатая с детства до ноющей боли по утрам, разжалась. Даже воздух в лёгких стал казаться шире, как будто раньше он дышал вполовину доступного объёма, не зная, что бывает иначе.

Он не знал, как назвать то, что произошло. Не было в его словаре слова для существа, которое подсело рядом с ним на пол этой ночью — молча, без предупреждения, без единого требования взамен, — и просто побыло рядом, пока страх не отступил.

Он знал только одно, с той же ясностью, с которой годом раньше понял про взрослых: это работает. Это по-настоящему работает, и никто в доме даже не узнает.

Демьян вымыл стопку, вытер насухо, поставил на место в шкаф — ровно так, как стояла, ни на сантиметр иначе. Поднялся к себе. Лёг. Заснул быстрее, чем засыпал за последний месяц, — провалился в сон так резко и глубоко, что утром не смог вспомнить ни одного сновидения, будто тело, получив наконец разрешение отдохнуть, использовало его без остатка.

Утром за завтраком мать спросила, как он спал.

— Хорошо, — сказал Демьян.

Это было почти правдой.

3.2 Первое облегчение, настоящее, без обмана

Второй раз он спустился на кухню не потому, что грудь снова отказала. Спустился просто так, через неделю, вечером во вторник, когда ничего особенного не случилось — обычная усталость после контрольной, обычное ощущение, что весь день прошёл сквозь него, не оставив следа. Он налил ту же стопку, тем же движением, и сел за стол, где обычно ели молча всей семьёй, и впервые за долгое время почувствовал, что сидит за этим столом не потому, что должен, а потому что хочет.

Так началась привычка, у которой ещё долго не было названия.

Демьян не думал о ней как о зависимости — слово было слишком большим, слишком взрослым, слишком похожим на заголовок газетной статьи про чужих, дальних людей с испорченной жизнью. Он думал о ней проще: гость. Кто-то, кто приходит, когда совсем не вмоготу, садится рядом, ничего не спрашивает и ничего не требует объяснить. За четырнадцать лет жизни в доме, где каждое слово взвешивалось, где дверь спальни говорила больше, чем человек за ней, гость был первым, кто пришёл без условий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.